

## БУХЕНВАЛЬДСКИЕ ТЕНИ

В Чехии, точнее в К. Варах День Победы не празднуют и цветы не возлагают, давно уж некуда. Другое дело в соседнем курортном месте – Марианских Лазнях. Есть обелиск американским солдатам, к нему цветы и флаги, и благодарственная молитва. А здесь вглядываемся с Митей в чёрную статую солдата с мешком вместо головы. Обидно? Да! Тысячи за Прагу, сто сорок тысяч наших погибших солдат за Чехию, и сто девяносто на счету у американцев. Но мы обиды копить не умеем, видно боимся в них захлебнуться, стараемся сделать вид – дескать, не заметили вашей неблагодарности. Некогда поверженные в той войне, лихо возвращают свой ядовитый посев, в тех сорняках быстро захлёбывается добрая память. Её предпочитают забвению – потому что можно бесстыдно марать подвиг, свести на нет признательность. Да мы-то обойдёмся! Простим, Бог велел прощать по семьдесят на семьдесят раз.

– Третье поколение сменяет время, новому племени разве известна правда или нужна? Большинство, чьё геройство сомнительно, уже давно страдают амнезией, якобы «быльём всё поросло», – философски заметила я.

– Амнезия говоришь? Вот когда всё да на своей шкуре, то память не отшибает. Главное, мы своих отцов помним, города в развалинах помним, и Победу нашу будем помнить, пока живы, – серьёзно произнёс Митя, – и добавил:

– Встретим, Геня, 9 мая в Бухенвальде. Отсюда недалеко. Управимся за день. Всё-таки День Победы, день величия наших отцов, воинов, фронтовиков. Твоему и моему отцу посчастливилось остаться живыми. А без них и нас не было...

– А без нас на том и жизнь остановилась бы. Мы с тобой постарались её приумножить... Ведь так?

– Да, уж! Дети семейные с нами, от них пятеро внуков, все вместе, как дед говорил, колхоз «Красный лапоть», и ещё ведь прибавят. Как, думаешь, прибавят?

– Могут. Однако боязно за детей. Какая им выпадет доля? Ох, только б не было войны! – украдкой вздохнула я.

Поутру девятого мая на машине мы отправились из К. Вар в Бухенвальд. Прервав отдых, едем с Митей в трагическое место, если не сказать – страшное... Митя легко управляется с машиной, да и дороги в Германии, честно сказать – отличные. Проезжаем Веймар. Нравится по-весеннему цветущий городок, ухоженный и уютный, в котором всё дышит беспечностью и достоинством. Некогда здесь жили и дружили два великих немецких гуманиста, писатели-поэты Гёте и Шиллер. Любуясь из окна Веймаром, пришли стихи, и я прочла их Мите:

«Горные вершины  
Спят во тьме ночной,  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листья...  
Подожди немного –  
Отдохнешь и ты!»

– Лермонтов, его стихи, – заметил Митя.

– Гёте, а перевод Лермонтова. Два гения творили – оттого стихи такие трогательные. В Вей-

маре жил и писал музыку Лист, Бах, здесь умер Ницше. Здесь творил знаменитый немецкий художник, забыла имя. Мы в Дрездене видели его картины, целый зал.

– Лукас Кранах старший. – И Митя поведал:

– Веймар – старый немецкий город, с десятого века известен, место разных искусств и просвещения, кроме того бывший политический центр. Слышала про Веймарскую республику? Им бы, немцам, гордиться его славою, так нет, устроили в Бухенвальде концлагерь. В этом лагере фашисты глумились над заключенными всех национальностей.

– То есть там, в концлагере, прямо по заповеди: «Несть эллина, несть иудея», – сказала я и продолжила, – несть поляка, немца, француза, русского?

– Не совсем. Евреев уничтожали в первую очередь и русских. Все хорошо знают – евреям нашивали жёлтую шестиконечную звезду, а нашим? Согласись, ведь не знаешь. Им на рукав – красный круг, а в нем латинскую эр. Был дан приказ по лагерю – помеченных таким образом заключенных без пощады отстреливать в любое время. Русские в Бухенвальде чаще были военнопленными, участники сражений, потому их опасались. Раз боялись, то и убивали.

Понятно – страх порождает агрессию, агрессия – ненависть, ненависть велит убивать.

Сам город Веймар в гармонии белых садов с красными крышами и алых розариев под окнами домов дышал покоем и благополучием. До странности безлюдно. На улицах нигде не видно горожан. Возникло ощущение – что мы одни, будто едем среди города, заснувшего глубоким, непробудным сном.

Чётко по указателям мы выехали из Веймара на дорогу, ведущую в Бухенвальд. Чем ближе к месту, тем напряжённее становилось внутреннее состояние. Всё очень серьезно...

В Бухенвальде входим в кованые ворота с надписью по-немецки «КАЖДОМУ СВОЁ». Осмыслить бы эту циничную фразу. Она встречает любого проходящего через черту, разделяющую свободу от несвободы. Хотели или не хотели, но сразу все – и палачи, и жертвы, попадали за одну и ту же колючую проволоку, в несколько рядов грозно торчащую со всех углов резаными шипами. Жертвы и палачи... Между ними рок обнажил пропасть – обозначил «каждому своё». Заведомая обреченность у одних и присвоенное право смертной казни у других. Между заключёнными и командос нет середины, нет моста, даже соломинки нет. Их пути несовместны. У клеймёных номерами, без имени узников физическая жизнь предавалась на уничтожение, а у тюремщиков над ними – душа на проклятие. Первые, обретя небеса, превратятся в ангелов горя, вторые – в фашистских выродков. Так что всё верно – «каждому своё имя».

Шли по лагерю среди фундаментов, что остались от бараков, каждый с немецким педантизмом под своим номером и литером. А с высоты майское солнце заливает плац, светит с той же щедростью и прямолинейностью как когда-то в сороковых годах прошлого века. И там, где в ту пору на нарах копошились в холоде и голоде, истерзанные, почти неживые люди, теперь только дроблёный чёрный камень. Нет, не только камень! И Тени. Тени Бухенвальда. Освещённые солнцем этого века, они не знают покоя, вулкан их боли не затухает в этом скорбном месте. Поднялась Тень от разорванного овчарками тела, без мяса и костей, без глаз и дыхания, лишь сумеречное очертание в непрерывном волнении и трепете.

Ветер качает её, как былинку на ветру:

Откуда я пришёл сюда? Не знаю  
Свой путь земной едва ли вспомню я.  
Один! Но ныне, в день отрадный мая,  
Сошлись Любовь и Радость, как друзья.

О! Счастлив, в ком они соединятся!  
Я ж плакать не могу, и вам не засмеяться»...

Стою столбом, застигнутая врасплох, а Тени, как в немом кино, ужасают, изображая повешенных, расстрелянных, горящих заживо в огне, безбожно истерзанных в муках голода... Кто их видит? Оглядываюсь – никто. А мне жутко, давняя почти могильная трагедия передо мной. Что они хотят сказать мне, что я могу им ответить? Да, я знаю голод... Сорок суток пробыла без маковой росинки, лишь воду пила полной чашей. Чистую, прозрачную влагу – единственное, что мне было позволено досыта. Голод срывает все маски, устои, правила и привитые установки. Разве могла я подумать, что вместе с кошкой буду есть сырую скумбрию, и попробуй кто отнять её, зубы впившиеся в кусок, не разжать. Инстинкт затмил разум и хоть тысячу раз тверди себе: «Умрёшь, если съешь», голод глух. А четыре дня без глотка воды! Тоже было. Знаю и жажду. Но на своём жизненном пути я была вольна сделать такой выбор. Голоду и жажде сказала – да! Но ведь без пыток и насилия, без страха быть зверски убиенной, уничтоженной по чьей-то прихоти, куда как проще! Сознательно я шла навстречу смерти, но оказывается – и это было моим счастьем, против горшего несчастья загубленных здесь тысячи людей. Я им сострадаю, зная по себе, как гаснет пламя жизни, как оно исходит в никуда искра за искрой, в итоге ещё не пепел, но теплится едва-едва... Невероятно, но в тот самый миг дано ощутить – Бог встал рядом, чтоб поддержать измученное тело и открыть необъятный простор для неожиданно крылатой души. Таков мой опыт, вряд ли он пригоден тут.

Небо чисто, без единого облака, лишь солнце жарит, выпуская огненные стрелы из своего колчана. Мы идём по территории Бухенвальда, будто по пустыне, только под ногами стоит хруст от чёрного гравия. Ни кустика, ни травинки, зато колючая проволока торжествует по периметру. Редкие посетители виднелись где-то там, вдали.

Остановка перед низкой загородкой. Оказалось огорожен широченный, в полтора сажени пень. Читаем: «Дуб Гёте». Где же дуб? Перед нами торчит ровный, как по циркулю, до блеска отшлифованный голик от некогда могучего зрелого дуба. Срез крепкого дерева, без единой червоточины, непоколебимого временем, но не людьми. Зачем в лагере дуб, охраняющий надежду, дающий мечту и воскресающий память, а с ней волю к жизни? Оскопили дерево, а убили – единственную надежду. Неужели спилили специально, чтобы смерть зримее витала во всём?

Исчезни сон! О! Дуб тебе хвала!  
Навек я твой, и нет пути иного!  
Как перед солнцем тает ночи мгла  
Пред силой пламенного слова.  
Светлеет даль, туман бежит,  
И тьма рассеялась. О, Боги, свет и сила!  
Восходит истины светило,  
Вокруг прекрасный мир лежит.  
В его лучах растаял призрак бледный,  
И новой жизни здесь блистает день Победный!

Сто лет, от середины девятнадцатого века до той же середины двадцатого, от века просвещения и гуманизма до самого злобного века на земле. Как могло случиться такое коварное превращение? Когда-то здесь у этого дуба мыслил о великом Иоганн Гёте с верой в любовь и свой трудолюбивый народ, и здесь же кровожадней вампиров их потомки высасывали кровь

братьев, страшной бешеных волков заедали их жизнь. Пень на свету отливал густым серебром, как обступившие его тревожные Тени Бухенвальда, не нашедшие себе приюта ни на земле, ни на небе. Они и мне не дали быть равнодушно-спокойной созерцательницей музея. Отравленные газом, помойной бурдой, истощённые и истерзанные опытами и пытками, битые-перебитые, Тени Бухенвальда вытянулись шеренгой у дуба, будто на плацу. Пугливо дрожащие, цеплялись друг за друга, падая и вставая, старались всем вместе не свалиться в прах, чтоб не угодить под дробь пулемётной очереди, как тогда в сороковых годах двадцатого века. Над ними зашёл коршун, взмывая, ярился, нарезая круги всё неистовее и грознее. И нет для жертвенных теней ужаснее этой птицы.

... И грянул, как на погребальной тризне,  
В полночный час глухой и скорбный звон.  
Возможно ль? Вы, друзья, к кому в отчизне  
Был каждый взор с надеждой обращен.  
Иль смерть зовет достойнейших у жизни?  
Весь мир потерей этой потрясен!  
Какой урон Земле и близким людям!  
Рыдает мир, и с ним скорбеть мы будем...  
(диалог к Шиллерову «колоколу»)

Солнце встало в зенит. Митя молча, за руку повлёк меня по глухому мемориалу дальше, а моя душа уже сгорбилась под ношей скорби. Приступ сострадания не щадил сердце. Ноги плелись по плацу еле-еле, будто на сороковой день голода, а хотелось не отстать и ускориться, но не получалось.

– Зайдём? – спросил Митя у здания с узкой и длинной трубой.

– Хорошо. А что здесь?

– Это крематорий, – понизив голос, сказал Митя.

– Надо идти. Мы для того и приехали, чтобы...

– Не прятаться лживо, а увидеть своими глазами ещё одну сторону той жестокой войны.

– Да, конечно. Я готова – пойдём, – согласилась, с предчувствием чего-то такого, о чём ясно помыслить невозможно.

Приземистое здание с трубой – грубо, серо, аскетично. И мы внутри, проходим в главный зал, где низок потолок и голы стены, шесть печей с открытой настезь пастью в стойке несытого зверя. С немецкой тщательностью внутри их выскреблено и выдраено, по размеру подогнаны дверцы, вновь выкрашены заслонки, дымоходы свободны, вороне и той нельзя сунуть нос в трубу, не то, что свить гнездо. Поражает полная пригодность и готовность к использованию крематория. Смотрю и не верю – бараки разорены, ни одного кола не оставили, а печи? В целостности и сохранности, обновлены до неприличия, будто в устрашение. Подобны отрубленной голове горгоны Медузы, несущей в себе смерть и гневно шипящей: «Бойтесь меня, бойтесь! Не смейте думать – что вы что-то можете, не смейте радоваться, что я вами побеждена. Пусть я повержена, но не отомщена. Я всё ещё в силе, а сила моя в ненависти. Чем вам её угасить? Чем?» – «Любовью», – с вызовом подумала я.

Не заметила, как осталась одна – посетители вышли из зала, а вместо живых столпились Тени Бухенвальда. Беззвучные Тени, как бывшие люди, встали цепью к печам, и, кланяясь от малейшего дуновения по сторонам, двинулись за теми, которых будто пылесосом засасывало в топку и оттуда в трубу – навывлет. Безликие, вынужденно покорные... они исчезали в шести печах, зияющих мраком... Окаменев, на миг застыла в ступоре. В цепи Теней, сли-

ваясь с их жертвенной судьбой, без принуждения двинулась в общей очереди за смертью. Как вдруг одна маленькая тень заметалась, заколотилась о дверь, растеклась по стенам, забилась о цемент пола, она боролась за себя – всё в ней было против... В очереди – смятение, коллективная покорность не отпускала маленькую тень, обнимая увлекла к печи, в мрачный зев со всеми. Топка поглотила мальчика, а я закричала! Как кричат во сне, без голоса, чревом: «Жить! Он жаждал жить! Всё кончено. Я не помогла! Я не сумела!» – и потом застучали мысли: «Здесь всё готово, чтобы снова... Теперь, а не тогда, вполне могут, останется лишь избрать жертву! И нет гарантий, что это не ты! Не я, не мы!» И меня охватило отчаяние! Необратимое, безысходное, глухое... От моего утробного крика исчезли Тени Бухенвальда, они показали то, что хотели сказать! Я поняла – почему они до сих пор были здесь. Они предупреждали живых!

Наружу рвались рыдания, их слышала лишь я, куда ещё бежать – как не в дверь? Ослепшая от слёз, достающих солью до подбородка, спешила выйти на воздух, напоследок далась об косяк и вот оно солнце! Из тьмы на свет – иначе разорвётся сердце.

Как вдруг... попала в чьи-то объятия. Нос уткнулся в пушистый шарф, широкую и тёплую грудь, чьи-то руки, утешая, гладили меня по голове, как в детстве отец. Я, не истеричка, однако, заливая неизвестного друга не прошенными слезами, горячо твердила:

– Нет, нет, нет! Это не должно быть, никогда! Никогда и никому! Мы же люди! Люди – не звери! Безбожно... Отвратительно! Я не могу... не могу... – не успокаивалась я.

– *Ma chérie, ne pleure pas, ne pleure pas. Tout se passe, ce n'est plus arriver, jamais. Personne ne permettra pas, tu as une belle âme. Tout va bien. Ne pleure pas.* (Милая, не плачь, не плачь. Поверь, больше не случится никогда. Никто не позволит. Мы не позволим, ни я, ни эти дети, ни ты. Нас много, очень много. Всё будет хорошо. Не плачь. Перевод с французского).

Я оказалась в окружении французской группы, их сочувствие уменьшило предчувствие надвигающейся катастрофы, возможность повторения пройденного человечеством ужаса. Митя оказался рядом, он высвободил меня от доброго человека в шарфе цвета французского флага, извиняясь, сказал:

– Русская, чувствительна чересчур, не выдержала женщина душегубства. Извините – но на это изуверство без надрыва смотреть и мужикам невозможно. Зубы горой, абажуры, сумки из человеческой кожи, будто мясники на бойне, так фашисты разделявали людей.

– *Mystérieuse âme russe. Merci à vous, que vous ressentez de la douleur d'autrui.* (Знаем, русская душа. Спасибо за то, что чужую боль чувствуете, как свою.)

– Вытри, Геня, слёзы, право, за тебя неудобно. Что уж не смогла сдержаться?

– Не смогла. Зачем оставили целыми печи? Ты видел они совсем новые. Для кого?

– От жадности оставили – жалко было разорять. Бережливость – особенная черта немцев. Может быть, они о плохом и не подумали.

– Может быть, дай-то Бог, чтобы это было так....

Мои глаза развернулись к небу – показалось ли? Из трубы, вместо Теней, густо плеядами полетели звёзды, покатались вместе с моими слезами в солнечную обитель, подальше от этого злосчастливого места.

Возвращаясь, мы проезжали снова Веймар, город великого поэта, пытавшегося охватить разумом свой и запредельный мир, только вот о таком развороте он не мыслил. Чтобы под сенью его дуба, где складывались чудные песни и стихи, потомки столь кроваво и злорадно угождали Смерти. Ненасытную насытили тысячами невинных жертв. А я о Гёте – любитель радости и счастья, нашедший истину в добре, на том свете, верно, истомился от чудовищной на родине беды:

Сердце, сердце, что случилось,  
Что смутило жизнь твою?  
Жизнью новой ты забилось, я тебя не узнаю.  
Всё прошло, чем ты пылало,  
Что любило и желало,  
Весь покой, любовь к труду, –  
Как попало ты в беду?

«Ох, как надобно племени младому, незнакомому читать книги, а не испепелять их на ко-страх, не гноить в мусорных баках, чтить и познавать Бога, иначе из невежества легко выра-стить монстра, если какому-либо злодею таков потребуется на земле», – так думала я.

Мы снова в К. Варах. Цветущие повсеместно, как праздник, радендроны, магнолии, розовые каштаны, подействовали благотворно и несколько утишили сострадание. От горного воздуха среди буковых аллей и тропинок дышалось легко и привольно. В природе остро чувствовалась безмятежность. Красота успокаивала и навевала забвение. Однако я не успокоилась:

– Страшно представить, Митя, а если бы наши тогда сдались и не победили фашистов?

– Обязательно бы победили, по-другому жизнь кончилась бы на земле, нормальная, челове-ская жизнь. Всякому безобразию обязательно приходит конец – озверению людей тем более. Есть Высший суд, он то и не дал фашистам терзать дальше Землю. Превращать одни народы в стадо, другие – как и свой, в карателей. Разве для этого рождаются люди?

Лёгкий ветерок сыпал на тёмный пруд лепестки магнолии и разносил их шёпот: «Время нашей весны скоротечно и переменчиво, однако миг кружения и полёта чудесен, чудесен»... Розовый шлейф из магнолиевых цветов обречённо тянулся и переливался на зыби тёмного пруда. Ещё пару дней и облетит вся красота дерева. Однако не зря старался ветерок. На ча-шечку магнолии, как на лодочку в пруду, села легковесная птичка, как сладко она пьёт по кап-ле и, кажется, никогда не напьётся цветочного эликсира. А с ветки роскошного дерева упои-тельно защёлкал, наперегонки с соловьём, чёрный дрозд! Нет, не соперники – у каждого своя заветная песня, своя благодарность Богом данному миру!

(Стихи И.В. Гёте)

Е. А. Гусева-Рыбникова 2008 - 2015 г. г.